

---

---

А. П. НАЗАРЕТЯН

## ЗАМЕТКИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, О «СОЛОВЬЯХ ПАЛЕОЛИТА» И О «СОВЕСТИ ПИТЕКАНТРОПОВ»

*Попытки противопоставить культурную антропологию мировой истории имели основания на определенной стадии развития науки и социальной практики, но сегодня они становятся признаком провинциализма. Автор демонстрирует это обстоятельство, рассматривая характерную публикацию в академическом журнале.*

**Ключевые слова:** история, антропология, палеолит, эволюция, прогресс, культура, совесть, осевое время, техно-гуманитарный баланс, антропогенные кризисы.

История – это прогресс нравственных задач. Не свершений, нет, – но задач, которые ставит перед отдельным человеком коллективное могущество человечества, задач все более и более трудных, почти невыполнимых, но которые с грехом пополам все же выполняются (иначе все бы давно развалилось).

*Г. С. Померанц*

*Ignorantia non est argumentum.*

*Латинская поговорка*

Лейтмотивом интеллектуального переворота, совершенного европейцами Нового времени, стало перемещение Божества из прошлого в будущее. Идея «детерминации будущим», устремленности природных и социальных процессов к идеальному состоянию («анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны») овладевала сознанием философов, ученых и обывателей. Впервые в истории на смену «постфигуративным» культурам (по терминологии М. Мид), ориентированным на воспроизводство образцов мышления и поведения, пришла культура «префигуративная», постулировавшая в качестве определяющих ценностей новизну и прогресс. Бог, мыслившийся прежде как Сверхпредок, «Отец всех отцов», превратил-

ся в Сверхпотомка, «Сына всех сыновей», которому теперь и были переданы функции верховного Эталона, Арбитра, а в некоторых позднейших версиях – даже Демиурга.

Этот интенсивный и многомерный мировоззренческий процесс обеспечил удивительно быстрый рост образования в Европе, распространение творческих установок, «доиндустриальный рывок» и индустриальную революцию<sup>1</sup>. Со своей стороны, он стал ответом на массовые фрустрации и страхи, спровоцированные тяжелым комплексным кризисом – экологическим, военно-политическим и идеологическим – в Европе позднего Средневековья. Еретические прозрения гуманизма, Просвещения, церковной Реформации и светлого будущего были социально востребованы в качестве психологической компенсации чувства обреченности и разрушения жизненных смыслов и быстро превращались в доминанту европейского мироощущения (см. подробнее: Назаретян 2004; 2008 и библиографию к этим работам, а также: Мельянцев 1996; 2004; Гринин, Марков, Коротаев 2009).

Здесь нам важно то, что на протяжении XVIII–XIX веков даже в обыденном сознании прочно утвердилась линейная картина истории как почти неуклонного развития «от худшего к лучшему» (*post hoc ergo melius hoc*). При этом сама история сводилась исключительно к событиям в Западной Европе, а «мировая периферия» вовлекалась в нее лишь по мере соприкосновения с цивилизованными европейцами; это создавало удобное идеологическое обоснование колониальной экспансии. К началу XX века такая лучезарная картина виделась окончательной и неопровержимой, немногие критики прогрессистского мировоззрения воспринимались как диссиденты, а их пессимистические прогнозы – как пережитки темного прошлого.

Некоторые из «диссидентов» всего лишь играли в неконформизм. Однако не больше сочувствия вызывали серьезные указания, например, на этическую сомнительность прогрессистского мировоззрения (которое лишает все прежние поколения самооценности, усматривая в них только ступени к вершине, а неведомое поколе-

---

<sup>1</sup> Синологи (Stunkel 1990; Lin Yufu 1995) обращают внимание на то, что все необходимые технологические и экономические предпосылки индустриальной революции сложились в Китае к началу XIV века. Однако отсутствовал решающий мировоззренческий фактор – идея прогресса как приближения к Божеству. Китайцы мыслили историю в образе Колеса, вращение которого выражено закономерной сменой периодов расцвета периодами спада, а доминирующей ценностью оставалась незыблемость традиций и ритуалов. Средневековые европейские и ближневосточные образы исторического времени существенно не отличались от китайского.

ние счастливых представляет вампирами, пирующими на могилах предков [Бердяев 1990]). Европейская политическая риторика пестрела выражениями: «будущее оправдает», «история не простит», «время все расставит по своим местам»...

И именно Европе, охваченной ожиданием неограниченного прогресса во всех сферах жизни, суждено было столкнуться с самыми тяжкими со времен Средневековья испытаниями. Две мировые и несколько гражданских войн, забытые ужасы геноцида, разрушительные экономические и экологические кризисы принесли с собой горькие разочарования<sup>2</sup>. В середине века выдающийся социолог П. А. Сорокин (1991: 167) писал: «Волна смерти, зверства и невежества, захлестнувшая мир в XX цивилизованном, как считалось, столетии, полностью противоречила всем “сладеньким” теориям прогрессивной эволюции человека от невежества к науке и мудрости, от звероподобного состояния к благородству нравов, от варварства к цивилизации, от “теологической” к “позитивной” стадии развития общества, от тирании к свободе, от нищеты и болезни к неограниченному процветанию и здоровью, от уродства к красоте, от человека – худшего из зверей к сверхчеловеку-полубогу».

К тому времени среди западных обществоведов понятия «прогресс» и подчас даже «социальная эволюция» сделались признаками дурного тона. В моду вошли унаследованные от «диссидентов» XIX – начала XX века модели прошлого и настоящего как множества замкнутых цивилизационных циклов, выстроенных в пространстве и времени, но лишенных причинной связи и преемственности. Впоследствии на их основе выросли многочисленные и остро конкурирующие между собой версии постмодернизма и национального и религиозного фундаментализма. Квинтэссенцию этого многоликого мировоззрения, освободившего человечество от единой истории, выразил один из его провозвестников – О. Шпенглер (1993: 151): «Человечество – это зоологическое понятие или пустое слово». А уже на заре XXI века американский историк У. Макнил в интервью, посвященном выходу в свет его (в соавторстве с Дж. Макнилом) книги, отметил: «С тех пор как понятие прогресса было полностью дискредитировано, никто не осмеливался поставить вопрос о том, что же представляет собой история человечества в целом» (Yextra 2002).

---

<sup>2</sup> Например, по нашим расчетам, если в XIX веке европейские потери составили около 15 % военных жертв всего мира, то в XX веке – не менее 65 % (Назаретян 2008).

Это, конечно, преувеличение, даже если полностью отвлечься от марксистского обществоведения в социалистических странах (пропитанного «формационным» мышлением со всеми его достижениями и извращениями) и в странах Западной Европы. И «респектабельная» западная наука XX века была насыщена конфликтом двух картин мира в их многообразных вариациях. В социальной философии, культурной антропологии, исторической социологии и психологии периодически оживлялась и временно затухала полемика между трактовками истории как бессистемного набора цивилизационных монад или как чисто внешних изменений, не затрагивающих сущность общественного бытия и сознания, с одной стороны, и как преемственного и связанного эволюционными векторами процесса – с другой.

К середине XX века очевидное преимущество было на стороне антиэволюционистов – сказывался шок первых десятилетий. Но в последующем под давлением накопившихся фактов ситуация заметно менялась даже в американском обществоведении, представители которого часто демонстрировали удивительное безразличие к достижениям европейских коллег. Причем в векторную парадигму исторического мышления вовлекались не только новые поколения ученых, но также и всемирно признанные авторитеты, которые нашли в себе силы переосмыслить устаревшие взгляды.

Так, один из столпов «цивилизационного подхода» А. Тойнби писал советскому академику Н. И. Конраду, что по завершении многотомного труда «Постижение истории» продолжил исследование и сопоставление исторических событий. Полученные результаты, признался он, «заставили меня почувствовать, что структура даже прошлой человеческой истории менее “монадна”, чем я предположил, когда думал, что открыл действительные “монады” истории в форме цивилизаций» (Письмо... 1974: 272).

Американский антрополог Дж. Даймонд – один из создателей «проникающих» методов сбора информации о жизни охотников-собирателей. Обобщив собственные многолетние наблюдения и сопоставив их с данными других исследователей, он показал, что популярные сказки о миролюбивых дикарях резко контрастируют с реальным положением дел: «В обществах с племенным укладом... большинство людей умирают не своей смертью, а в результате преднамеренных убийств» (Diamond 1999: 277).

Крупнейший специалист по исторической демографии М. Коэн считается одним из самых «сладкоголосых соловьев палеолита»

(*the sweet nightingale of the Paleolithic*). Подробно изучив археологические данные, он раньше других обратил внимание на то, что в силу ряда особенностей своего существования первобытные люди превосходили посленеолитических потомков (вплоть до XX века!) ростом, здоровьем и ожидаемой продолжительностью жизни. Отсюда его восторги по поводу современных охотничьих племен.

Но по мере того как методы получения информации в антропологии палеолита совершенствовались, позволив выявить детали человеческих отношений, добросовестный исследователь был вынужден признать, что даже в самых мирных племенах и при отсутствии формальных признаков войны «число убийств в расчете на душу населения удивительно велико» (Cohen 1989: 131). В переписке с автором этих строк он согласился, что превосходство людей апополитейного палеолита в *ожидаемой* продолжительности жизни не тождественно превосходству в *реальной* продолжительности жизни, поскольку в неолите заметно сократился уровень смертоносного насилия. Последнее обстоятельство подтверждается археологическими данными (см., например: Бужилова 2005).

Дело, конечно, не в отдельных персоналиях и примерах, которые можно продолжить. Концепция изолированных цивилизационных монад и вообще отрицание векторного характера истории строились на двух тезисах, которые современникам Н. Я. Данилевского или О. Шпенглера было трудно опровергнуть. Во-первых, между процессами, происходившими в разное время и в разных регионах Земли, отсутствуют устойчивые причинные связи. Во-вторых, за историческое время не произошло событий, значимых для всех «цивилизаций» и культурных регионов.

Однако после работ В. Г. Чайлда, К. Ясперса, Л. А. Уайта, Л. С. Выготского и А. Р. Лурия (создателей культурно-исторической школы в психологии, чьи труды получили распространение на Западе), Р. Карнейро, Э. Янча, Э. Тоффлера, У. Макнила, Дж. Даймонда, Д. Кристиана и их многочисленных последователей указанные тезисы уже не выдерживают критики. Стало ясно, что объемное видение прошлого обеспечивается сочетанием зрительных приборов – от микроскопа до телескопа (Christian 2004). При крупном масштабе, ограничивающем пространственно-временной обзор, перед глазами открывается богатый спектр конкретных событий, ситуаций и живых персонажей, но исчезают долгосрочные зависимости. С уменьшением же масштаба и соответственно расширением обзора все более отчетливо прослеживаются параметры

преемственности и глобальные фазовые переходы. Мы видим, как сменяли друг друга лидирующие регионы и культуры и как даже надолго изолированные от остального мира цивилизации Америки развивались с отсечкой в том же направлении, что и цивилизации Евразии (см.: Carneiro 1970; Семенов 2009).

Сказанное относится и к досоциальным фазам истории. Исследуя отдельные биологические виды или локальные биоценозы, палеонтологи обнаруживают циклы зарождения, расцвета и угасания (более 99 % существовавших на Земле видов вымерли еще до появления человека [Аллен, Нельсон 1991]). Но обратившись к геохронологической шкале, можно отчетливо проследить, как от одной геологической эпохи к другой последовательно и взаимосвязанно возрастали внутреннее разнообразие, организационная сложность, уровень устойчивого неравновесия, «энергия жизнедеятельности» (А. Н. Северцов) и «интеллектуальность» биосферы<sup>3</sup>. При сопоставлении же глобальных мегатрендов биологической и социальной эволюции обнаружено, что вторые оказываются продолжением и разветвлением первых. Наконец, сквозные векторы последовательных изменений от простого к сложному, от более вероятных к менее вероятным и устойчиво неравновесным состояниям пронизывают и добиотические стадии эволюции Вселенной.

На открытии единства эволюционных векторов строится интегральное общенаучное направление, которое в России обозначено как *Универсальная история* (ср. в англоязычных странах – *Big History*, в романоязычных – *Mega-Historia*, в германоязычных – *Weltallgeschichte*). Эта исследовательская программа объединяет ученых всех специальностей – от астро- и микрофизиков до антропологов, психологов и искусствоведов, а соответствующие междисциплинарные курсы собирают массовые аудитории во многих зарубежных (и пока немногих российских) университетах.

Добавлю, что использование новейших моделей самоорганизации (синергетика, теория диссипативных структур, теория хаоса) позволило очистить концепцию исторического прогресса не только от линейности и евроцентризма, но и от самого глубокого порока ее классических версий – телеологизма. Изучение кризисов и фазовых переходов показывает, что прогресс представляет собой не

---

<sup>3</sup> Например, по расчетам В. И. Вернадского (1978), если принять совокупный коэффициент цефализации современной фауны (без человека) за 1, то в миоцене (25 млн. лет назад) он составлял 0,5, а в начале кайнозойской эры (67 млн. лет назад) – 0,25.

цель и не движение к цели, а *средство сохранения* неравновесной системы (биосферы, общества, антропоценоза) в фазах неустойчивости. Последовательная цепь успешных ответов системы на вызовы кризисогенного развития (на фоне множества деструктивных ответов) и выстраивается *a posteriori* в векторы общечеловеческой истории со сменой лидирующих подсистем.

Во всяком случае, обсуждая сегодня социальную историю в целом, можно спорить о терминах, о механизмах, обеспечивших последовательность долгосрочных изменений, о способе выделения и об оценке их векторов, но, оставаясь в рамках науки, отрицать наличие векторов уже нельзя. Оно подтверждено настолько бесспорными эмпирическими обобщениями и расчетами, что в XXI веке заявления об иллюзорности общечеловеческой истории сделались исключительным приоритетом идеологов фундаменталистского толка и кокетливо-меланхолических литераторов. Тем не менее какой-то неизбывный провинциализм отечественной социальной науки побуждает то и дело реанимировать зарубежные теории и авторитеты полувековой (и более) давности, вызывая снисходительные улыбки коллег.

К сожалению, примерам такого провинциализма несть числа. Но непосредственным поводом для этих заметок послужила статья О. Ю. Артёмовой (2008), напечатанная в журнале «Этнографическое обозрение». Статья злая и развязная, рефреном в которой проходит гордое самоопределение автора в противовес оппонентам: «мы, антропологи».

Вступительный пассаж статьи стоит процитировать. «Были ли в истории человечества, – вопрошает автор, – рывки “вперед”, равные по мощи своей и по своим последствиям формированию орудийной деятельности, освоению огня и... созданию нормативной культуры взаимопомощи и коммуникативных знаковых систем?» (Там же: 138). Ответ на этот риторический вопрос однозначен: нет, не было!

Вообще-то, поднапрягшись, можно бы отвести детерминанты истории еще дальше в прошлое. Например, к формированию приматов (генетически шимпанзе и человек на 99 % идентичны [Боринская, Янковский 2006]), к образованию многоклеточных организмов, к возникновению жизни, к синтезу в космосе тяжелых элементов или – чего уж мелочиться – к Большому взрыву. Как глубокомысленно заметил известный юморист, главное в биографии человека – эпизод знакомства его родителей. Надеюсь, для «мы-

антрополога» не станет откровением одно простое обстоятельство. Удивительные существа, начавшие производить искусственные орудия (*Homo habilis*), и еще более удивительные существа, научившиеся поддерживать огонь, строившие сложные коммуникативные системы и, по археологическим свидетельствам, поддерживавшие жизнь инвалидов (*Homo erectus*), – все это даже не родители, а прародители людей современного биологического вида. Сами же неантропы, по Артёмовой, за десятки тысяч лет ничего по-настоящему нового не создали и стоящих «рывков вперед» не совершили. Сказано ведь – «зоологическое понятие», не более того. Сам Освальд Шпенглер мог бы заплодировать в могиле, если бы не догадался, что эта эпатажная декларация списана из американской книги середины прошлого века.

Далее объектом разоблачительного пафоса Артёмовой становятся книги автора этих строк, который с удивлением узнает, что вел с ней «полуанонимную (!) полемику», при этом «свято блюдя ее инкогнито» (Артёмова 2008: 145). Надо же: *полуанонимно* и *свято блюдя инкогнито*. Мне в молодости доводилось работать за рубежом, как тогда говорили, «под мягкой легендой», но до таких фокусов конспирации я не додумался бы даже в отношениях с родной тещей. Да и к чему церемонии, если книги насыщены критическими обсуждениями, всегда адресными и уважительными к оппонентам. Многолетний опыт профессионального психолога подсказывает мне, что в заявлениях подобного рода, предметно ничем не обусловленных, проявляются какие-то подавленные мотивации.

Но оставим душевные коллизии и провалы в логическом мышлении критика и допустим, что я и вправду не ведал или неумело скрывал, какая муза витает над моим компьютером. Теперь-то, коль скоро Гюльчатая открыла личико, в утерявшей полуанонимность полемике уместно было бы ожидать каких-либо возражений по существу дела.

В поисках критических замечаний мне удалось обнаружить единственный внятный упрек – в недостаточном ссылочном обеспечении, – который еще может быть обращен к распечатанному лекционному курсу (Назаретян 1996), сохранившему стилистику устной речи, но никак не к монографиям (Он же 2004; 2008). В них каждый тезис тщательно аргументирован и снабжен подробным библиографическим аппаратом, так что при желании и умении можно было бы серьезно полемизировать.



Но из статьи Артёмовой ясно, что она прочла не более десятка страниц, по типичной логике мегаломании «вчитала» в них самое себя, любимую и полуанонимно использованную, – и в экстазе самоутверждения бросилась драть все подряд. В итоге же вместо предметных возражений – экзальтированные фразы, многозначительные знаки препинания, путаница заглавий, издательств, годов издания, цитат, страниц и – банальный обман. Последний осуществляется при помощи предложений вроде: «Указание на источник сей информации, конечно, отсутствует» (Артёмова 2008: 145); «Об этом, конечно, речи (в книге) нет» (Там же: 144); «Само понятие “неолитическая революция” не анализировалось» (Там же: 142)...

Я не писал книг с таким названием, не печатал их ни в издательстве МГУ, ни в 1997 году (как утверждает на с. 141), а в моих книгах с другими названиями и другими выходными данными на указанных в «рецензии» страницах нет похожих цитат. Все эти «мелочи» демонстрируют только дремучий непрофессионализм доктора наук и коллектива редакции; я даже не стал бы их фиксировать, зная, насколько снизился в последнее время уровень работы некоторых академических журналов и институтов. Но хуже – другое: за дымовой завесой непрофессионализма проглядывает тотальная беспринципность.

Ведь если отбросить пустые фразы (к коим критерии правды и лжи неприменимы), то буквально каждое утверждение – ложь. Кто не поленится найти нужные книги, просмотреть оглавления, найти страницы и сверить цитаты, тот обнаружит, что и источник указан определенно, и речь «об этом» в книге идет очень подробно, и анализу понятия «неолитическая революция» посвящены десятки страниц. Все-таки дамская безалаберность и человеческая нечистоплотность – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Или автор демонстрирует нам какую-то специфическую «совесть», которая, по ее мнению (Там же: 144), была свойственна уже питекантропам?..

Методы самопрезентации и дискредитации оппонентов в статье Артёмовой настолько симптоматичны, что я предложил ее своему другу клиницисту в качестве иллюстративного материала к лекции по психодиагностике, а сам планирую использовать в семинарах по риторике. Студенты, знакомые с книгами, легко составят перечень приемов искажения, которые использует автор. Но чтобы не опуститься на уровень, навязанный «рецензентом», я стараюсь выковырять из-под слоя какой-то липкой смеси патетики и ерничанья если не аргументы, то хотя бы ясное обозначение пунктов несогласия.

Как можно с трудом догадаться, Артёмов то ли не верит, что на исходе апополитейного палеолита исчезло до 90 % мегафауны планеты, то ли считает единственной причиной этого природные изменения. И, разумеется, совершенно игнорирует собранные в моих книгах доказательства несостоятельности «климатической» гипотезы.

Например, то, что на протяжении плейстоцена все эти виды пережили не менее двадцати глобальных климатических циклов и продемонстрировали способность адаптироваться к ним. Или то, что в верхнем палеолите потолок несущей способности планеты при наличных технологиях был перекрыт даже чисто арифметически (площадь земной суши – 149 млн. км<sup>2</sup>, из коих от силы половина была пригодна для человеческого обитания, прокорм одного охотника-собирателя требует в среднем 15–20 км<sup>2</sup>, а население, по умеренным оценкам, достигло 4–7 млн.). Или то, что искусные охотники, оснащенные эффективным дистанционным оружием и хитроумными ловушками, вели загонную охоту, истребляя животных целыми стадами, строили жилища из мамонтовых костей с превышением конструктивной необходимости – и все это в контексте природных перестроек не могло не послужить решающим фактором разрушения экосистем. Или то, что на острове Врангеля популяция мамонтов сохранялась еще 4–4,5 тыс. лет назад, до тех пор, пока там не появились первые люди<sup>4</sup>. Вменяемый оппонент должен был либо фальсифицировать все эти данные, либо привести контрдоводы. Но непохоже, что «мы-антрополог» способен на научную дискуссию.

Ольга Юрьевна не верит в реальность городской революции и осевого переворота? Тут уж и вовсе ничего иного не посоветуешь, кроме как почитать книги по истории культуры, морали и права, по военной истории и исторической социологии. Если доктор наук Артёмов прочтет, да еще и попробует понять хоть небольшую часть из тех, что представлены в библиографии к моим работам (Назаретян 1996; 2004; 2008), то она убедится, что после освоения огня с родом *Ното* произошло еще множество интереснейших событий. И его представителями были совершены «рывки вперед», сопоставимые по эволюционному значению с подвигами хабилисов и архантропов.

---

<sup>4</sup> За последний год опубликованы новые данные, демонстрирующие справедливость выводов о решающей роли охотников в исчезновении мегафауны плейстоцена (*the overkill hypothesis*) (Gill et al. 2009).

Литературу по психологии даже рекомендовать не стану. Чтобы разобраться с такими понятиями, как *личность*, *совесть*, *интеллект* (вызвавшими особое раздражение «оппонента»), достаточно для начала ознакомиться с книгами, столь бесшабашно критикуемыми. Там значения всех этих понятий операционализированы, содержание каждого из них разъяснено, что называется, на пальцах, для неспециалиста, и, смею заметить, хорошим русским языком.

Скажем, вопреки предьявленному сторяча обвинению я нигде не утверждал, будто проявление личности, понимаемой как субъективное отношение к социальной роли, вообще отсутствует в доосевых культурах. Еще в 1973 году меня на всю жизнь поразили индеец *аше*, вынужденный не по своей воле, но по жестокому закону племени исполнять роль женщины. Он настойчиво демонстрировал неприятие чуждой роли: неверно наносил раскраску, нес тяжелую корзину не на голове, как это делают женщины, а на груди, на согнутых в локте руках, – и неадекватным поведением провоцировал всеобщую ненависть к себе со стороны мужчин, женщин и детей. Между тем его соплеменник с явными гомосексуальными наклонностями стал «нормальной» женщиной, жил среди женщин (моногамия в племени отсутствует), в охотку выполнял все ролевые функции и остался социально адаптированным.

Не знаю, насколько сказанное далее относится к нижнему палеолиту и к фаворитам Артёмовой – питекантропам. Но на исторических стадиях, предшествовавших осевому времени, критическое мышление, ролевые конфликты, индивидуальная ответственность, моральные колебания, философская рефлексия – все это составляло периферию социальной и духовной жизни, оставаясь уделом чудаков, аутсайдеров и маргиналов<sup>5</sup>. Только в середине I тысячелетия до н. э., после того как распространение стального оружия резко повысило кровопролитность войн, эти качества ума были по-настоящему востребованы историей – в синергетике такое восстановление системной устойчивости за счет периферийных ресурсов называется *правилом избыточного разнообразия*. В процессе адаптации технологически передовых обществ к новому оружию за несколько столетий произошло глубокое преобразование социально-политических ценностей на огромной ойкумене – от Иудеи и Греции до Индии и Китая.

---

<sup>5</sup> Возможно, также индивидов с психическими отклонениями: например, судя по всему, упомянутый индеец страдал олигофренией и потому изначально имел очень низкий статус в социальной иерархии.

В частности, впервые нарушилась монополия мифологического мышления, и апелляция к антропоморфным силам в качестве гарантов воздержания от неодобряемых коллективом действий (боги все видят и ничего не простят!) была частично потеснена способностью критически оценивать отсроченные последствия поступков и нести за них ответственность перед самим собой: человек – мера всех вещей. «Даймон» Сократа, «Жэнь» Конфуция суть приметы «интимной инстанции нравственного самоконтроля» (совесть *ver-sus* богобоязнь), упоминание о которой вызвало столь бурную реакцию критика (ср.: Берзин 2009, а также статью В. Н. Ярхо в этом номере нашего журнала).

Обо всем этом написано так много, что следует считать курьезом то, что Артёмова, сдавшая кандидатский минимум по всемирной истории, узнала о реалиях осевого переворота только от меня. И вместо того чтобы поблагодарить за расширение ее профессионального кругозора, обиделась. Уже не только за свое святое полуинкогнито, но и за добрых дикарей, чьи ум и высокие моральные качества я недооцениваю.

Между тем в отличие от «мы-антрополога» я не только по книгам знаю об интеллектуальных и прочих способностях первобытных людей. Среди моих учеников и товарищей в 1970–1980-е годы были недавние выходцы из охотничьих племен Южной Америки и Африки. По рассказам моего близкого друга, блестящего парагвайского психолога, поэта и журналиста Виктора-Хасинто Флеча (Арнальдо Алонсо), его мать, выросшая в племени *аше*, в ранней юности не брезговала кушаньями из человеческой плоти. От него же и от других опытных путешественников мне известно, что в зоне обитания палеолитических племен спонтанная встреча с незнакомым человеком опаснее, чем со львом. Потому что отношение первобытного охотника к чужаку амбивалентно: это и потенциальная угроза (в том числе и мистическая), и потенциальная добыча, часто предназначенная для сложных ритуальных процедур.

Хотя за последнее столетие под влиянием внешней цивилизации распространенность классического каннибализма в той или иной форме значительно уменьшилась, я все равно не желаю Ольге Юрьевне когда-нибудь оказаться в ситуации, где ее сусальные картинки столкнулись бы с суровой «полевой» реальностью. Если же говорить о долгосрочных исторических тенденциях (а именно о них в книгах идет речь), то имеется достаточно свидетельств то-

го, что для апополитейного палеолита еще более, чем для синполитейных охотников-собирателей, характерны различные формы людоедства и смертельная вражда между племенами. Поэтому антропологи, изучающие процесс образования вождеств, не раз отмечали, что в неолите «люди впервые в истории учились регулярно встречать незнакомцев, не пытаясь их убить» (Diamond 1999: 273). Это связано с существенными психологическими изменениями, которые подробно анализируются в моих книгах (Назаретян 1996; 2004; 2008).

Не будучи психологом, Артёмова не обязана разбираться в тонких различиях между понятиями «интеллект», «интеллектуальная способность», «когнитивная сложность» и т. д. Но прежде чем высказываться с таким апломбом на незнакомую тему, стоило бы почитать, что пишут грамотные люди. Тогда бы не пришлось потешать публику рассуждениями в том духе, что «охотникам и собирателям очень несмышленными кажутся европейцы, которые, заблудившись в лесу или саванне, гибнут от голода и жажды» (Артёмова 2008: 143), а значит, интеллект этих самых охотников-собирателей не уступает интеллекту образованного европейца. Отсюда дикий хищник, которому для выживания в своей нише не требуется (в отличие от охотника) ни искусственного оружия и прочих приспособлений, ни поддержки коллектива, заведомо превосходит интеллектом человека. А вершины интеллекта поищем у болезнетворных микроорганизмов, настолько адаптивных, что медицина со всеми приборами и препаратами до сих пор не может справиться со многими из них...

Надо сказать, что я в свое время с интересом прочел книгу Артёмовой об аборигенах Австралии и в 1997 году пригласил ее к участию в проекте по гранту РФФИ. Она привлекла умением старательно излагать содержание американских книг 1930–1970-х годов с налетом модного тогда ретроградного романтизма, и я надеялся, что ее присутствие в группе эволюционистов придаст совместной работе дополнительный творческий импульс. Кроме того, я убежден, что для нормального научного процесса недостаточно сбора эмпирических фактов и оригинальных теоретических обобщений – необходимы организаторы, переводчики и популяризаторы. Но адекватный человек должен сознавать, какую «экологическую нишу» он занимает в науке; когда же он, научившись компилировать иностранные тексты с поправкой на несовершенное зна-

ние английского языка, претендует на роль верховного судьи, это выглядит комично.

Представьте, чего нам стоило удерживаться от невежливого смеха, когда дама, видевшая предметы палеолита в музее, а живых охотников-собирателей – в кино (или в показательной резервации для интуристов), обвиняла в некомпетентности исследователей, копавших стоянки в Сибири (А. М. Буровский) и работавших с носителями первобытной культуры. Было трудно поверить, что кандидат *исторических* наук приписывает едва ли не лично мне честь открытия таких событий, как неолитическая, городская и осевая революции. Как выходит из текста «рецензии», став доктором, Артёмова все еще не поняла, что указанные эпизоды выявлены историками несравненно более именитыми, чем ее покорный слуга. В моих книгах только представлена комплексная модель, позволяющая в единой причинно-следственной логике объяснить эти и ряд других кардинальных поворотов мировой истории, а также антропогенные кризисы локального, регионального и глобального по эволюционному значению масштаба. Модель позволяет четко ставить проблемы и приближает к решению ряда исторических загадок, сформулированных выдающимися исследователями.

Например, за счет чего хабилисам, раз и навсегда нарушившим этологический баланс между естественной вооруженностью и инстинктивным торможением внутривидовой агрессии, удалось выжить и положить начало новому витку эволюции на Земле (вопрос К. Лоренца)? Что вырвало людей из палеолитического рая, побудив их «вступить в сотрудничество с природой» (В. Г. Чайлд) и выстраивать межплеменные коалиции, и что их еще позже «заманило в ловушку государства» (А. Саутхолл)? Почему грандиозный сдвиг в культурных ценностях, социальном мышлении и политическом поведении произошел параллельно на огромном географическом пространстве с информационно слабо связанными регионами («загадка одновременности» осевого переворота, поставленная К. Ясперсом)? И главное: что позволило роду *Номо* сохраняться на этой планете миллионы лет, последовательно удаляясь от естественного (дикого) состояния, все глубже вторгаясь в ход природных процессов и не раз оказываясь на грани выживания (компонент «загадки существования» А. Эйнштейна)?

Все это не далекие от жизни вопросы. От того, насколько мы поймем общие механизмы динамической устойчивости, обостре-

ния и преодоления техногенных кризисов, зависит реалистичность глобальных прогнозов и проектов на обозримое будущее.

Чтобы удалить с плетня тень, наведенную Артёмовой, напомним, что *модель техно-гуманитарного баланса* отражает системную зависимость между тремя переменными: технологическим потенциалом, качеством культурно-психологических регуляторов и устойчивостью общества. Новые технологии, боевые или производственные, увеличив инструментальные возможности, повышали *внешнюю устойчивость* социальной системы – ее независимость от природных и геополитических колебаний. Вместе с тем нарушение баланса между инструментальной и регуляторной культурой снижало *внутреннюю устойчивость* общества, т. е. оно становилось уязвимым по отношению к колебаниям массовых настроений, импульсивным решениям харизматических лидеров и т. д.

Все это часто влекло за собой всплеск экологической и/или внешнеполитической агрессии, сопровождаемый массовой эйфорией, ощущением вседозволенности и безнаказанности, иррациональной тягой к «маленьким победоносным войнам» против природы и окружающих социумов (*синдром Предкризисного человека*). Такое развитие событий завершалось тем, что общество, подорвав природные или организационные основы существования, гибло под обломками собственного декомпенсированного могущества. В соответствии с подобным сценарием (при всем многообразии драматургических воплощений) произошло разрушение многих очагов цивилизации на всех континентах (см., например: Григорьев 1991; Global... 2002 и др.)<sup>6</sup>.

Однако формальный аппарат модели допускает и принципиально иное решение, связанное с совершенствованием социальной регуляции. В ряде случаев, когда антропогенный кризис охватывал обширный регион с высоким уровнем культурного разнообразия, его обитателям удавалось найти кардинальный выход из эволюционного тупика. Это обеспечивалось комплексом сопряженных изменений в общественном и индивидуальном сознании, в социо-

---

<sup>6</sup> Самые наглядные иллюстрации сценария дает этнографическая литература. Описано множество эпизодов, когда в руки туземцев попадали современные технологии (типа американских карабинов у горных кхмеров Вьетнама) и это вело к катастрофическим последствиям. Такие эпизоды можно считать артефактами, поскольку технологии поступали извне, а грандиозный разрыв между ними и исконной психологией форсировал развитие событий. В аутентичной истории, когда технологии формировались внутри общества, события развивались значительно медленнее и опосредовались множеством дополнительных деталей, но причинно-следственные связи выстраивались по аналогичной схеме.

природных и внутрисоциальных (особенно межгрупповых) отношениях.

При обострении антропогенных кризисов интенсифицировался отбор ценностей, норм мышления и поведения, совместимых с новообретенным инструментальным могуществом, – процесс болезненный и драматический, сопровождавшийся отбраковкой социумов, не сумевших своевременно адаптировать гуманитарную культуру к разрушительной мощи технологий. В результате происходила культурно-психологическая *притирка (fitting)* к новым технологиям – своего рода «укрошение» их. *После того как притирка состоялась*, даже самые грозные орудия, в том числе военные, превращались в жизнеспасающий фактор.

Таково предельно схематическое содержание модели, представленной в моих книгах (Назаретян 1996; 2004) и в ряде статей (Он же 2009а; 2009б; Nazaretyan 2003; 2005а; 2005b; 2009 и др.). Модель снабжена не только подробными конкретно-историческими описаниями (*case studies*), но также процедурами критической верификации, в том числе количественной. В частности, введен специфический кросс-культурный показатель – *коэффициент кровопролитности*: отношение среднего числа убийств в единицу времени к численности населения. Сравнительные расчеты, проведенные междисциплинарной группой под нашим руководством, показывают, что в длительной временной ретроспективе с последовательным увеличением убойной мощи оружия и демографической плотности этот показатель не возрастал, а сокращался. И что по окончании стадии притирки чем выше разрушительный потенциал оружия, тем меньший реальный ущерб оно наносит.

Указанные зависимости нелинейны, опосредованы всплесками кровопролития и прочими катастрофическими эффектами. И реализовались они не оттого, что люди со временем становились «менее агрессивными» (с ростом плотности населения общий уровень агрессивности мог повышаться), а оттого, что культура, проходя через горнило рукотворных катастроф, умножала и совершенствовала механизмы сублимации агрессии.

Совершенствование культурно-психологических регуляторов – один из (не менее пяти) глобальных векторов или мегатрендов, которые отчетливо прослеживаются на длительной исторической дистанции. Повторю, что каждый из выделенных векторов, как и прочие составляющие модели, допускает критическую верификацию и фальсификацию (в смысле К. Поппера). Их обсуждение неоднократно проводилось на страницах российской и зарубежной



печати – статьи, рецензии, посвященные теме круглые столы – и на международных научных форумах. И участвовали в обсуждении критики несколько иного интеллектуального ранга, нежели мой нынешний «оппонент».

Я не стал перечислять приемы искажения информации, использованные в статье Артёмовой, но на один все же указать необходимо. В риторике его называют *аксиоматизацией доказательств* – нужный тезис произвольно привязывается к другому, бесспорному для данной аудитории. Хрестоматийные примеры: «Колесо истории нельзя повернуть вспять, а потому кулачество как класс должно быть уничтожено»; «Сегодня в Москве ноль градусов по Цельсию, а назонекс – самое надежное средство от аллергии».

Вот как этот прием применяет Артёмов. Включив в сумбурный обзор эзотерические поделки на тему антропологии и антропогенеза (хотя не исключено, что другие книги так же беззастенчиво перевраны, как и мои), она перемешала все в кучу и создала у неискушенного читателя впечатление, будто речь идет о работах одного толка. А странные цитаты из одного автора автоматически переносятся на остальных.

Дочитав статью до конца, обнаруживаем, что нагромождение вырванных из контекста цитат предназначено для того, чтобы «пропиарить» Центр социальной антропологии РГГУ, где и собралась «мы-антропологи» в противовес «им-не-антропологам». Подозреваю, что реклама такого качества способна обернуться скорее эффектом бумеранга. И сожалею об этом. Потому что хорошо знаком с людьми, начинавшими работу этого действительно интересного Центра. Знаю, как они относятся к научным способностям и званиям Артёмовой и почему группа серьезных ученых была вынуждена отделиться, организовав в том же университете альтернативный Центр антропологии Востока. Ольга Юрьевна «не заметила», что основатель первого из указанных Центров и руководитель второго А. В. Коротаев является титульным рецензентом двух моих книг (он же, кстати, автор одной из многочисленных журнальных рецензий: Korotaev 2008). Так, вероятно, под видом научной полемики сводятся счеты с конкурентом: кошку ругают, чтобы поняла невестка...

И последнее по этому поводу. Артёмова жалуется, что ее статью в журнале «Общественные науки и современность» отвергли, потому что «Назаретян сотрудничал там» (Артёмова 2008: 144). Это очередное лукавство.

Кто знаком с журналом «ОНС», знает, что принципами его работы всегда оставались состязательность, столкновение мнений и концептуальная дополнительность. Работая же заместителем главного редактора, я считал своим долгом с особой настойчивостью поддерживать даже посредственные статьи, содержавшие критику моих публикаций. В этом легко убедиться, просмотрев подшивку журнала за 1992–2001 годы. Да и фразу: «Меня *попросили* написать на нее рецензию» (Артёмова 2008: 144, курсив мой. – А. Н.) – следует читать так: «Назаретян предложил мне, Артёмовой, подготовить для журнала критическую рецензию одной из его книг, зная о моем резко негативном отношении к ней и к самой идее социального развития».

Разумеется, я не просил писать рецензию *на* книгу. По-русски «на» можно рычать, твякать, чихать и справлять прочие нужды, но не рецензировать. А жаргонное словосочетание «рецензия на» изобрели в 1920-х годах околотитературные авторитеты из РАПП, с трудом отличавшие рецензию от доноса. Когда не терпится «по-рецензировать на», выплеснув агрессию подавленной неудовлетворенности, из-под пера выходят такие вот произведения. Для того же, чтобы написать критическую рецензию книги, необходимы умение читать, понимать, вкус и тот самый злополучный интеллект, о котором столь резво рассуждает Артёмова.

Со всем этим-то у нас обнаружился, извините за выражение, «большой напруг», и полученная статья даже не была представлена на рассмотрение редколлегии. Конечно, не из-за наличия критики, а из-за отсутствия мыслей. Выяснилось, что как только Ольга Юрьевна переходит от пересказа американских книг к самостоятельным рассуждениям, результат безнадежно перестает отвечать требованиям академического издания. Безнадежно – значит, не видно возможности довести невнятный текст до мало-мальски приемлемого уровня.

Насколько помню, это был приблизительно тот самый текст, который спустя десять лет, с добавлениями, нашел-таки невзыскательного публикатора. С ним (текстом) каждый желающий может ознакомиться и решить, допустимо ли было печатать его в уважающем себя журнале. Между тем в редколлегии «ОНС» работают ученые с большим профессиональным опытом и развитым вкусом, и редактор, представивший им для обсуждения материал такого качества, выглядел бы просто несолидно...

Пытаясь все же извлечь из статьи Артёмовой хоть какой-то прок, отмечу, что благодаря личностным и интеллектуальным ка-

чествам автора («служливый друг хуже врага») она доводит до закономерного абсурда и тем самым развенчивает тенденцию, обозначившуюся в начале прошлого века, – противопоставление этнографии и истории.

Сто лет назад эта тенденция имела методологические основания. Исследователь не может углубиться в дискурс иной культуры – наблюдаемой «вживую» или реконструируемой по документам – и достичь желаемой эмпатии с ее носителями, глядя «сверху вниз». Поэтому многие (хотя и не все) школы культурной антропологии и исторической психологии стали в принципиальную оппозицию классическому историко-эволюционному миропониманию, страдавшему отмеченными выше пороками – линейностью, евроцентризмом и телеологизмом. Стоит добавить, что антропологи и психологи антиэволюционистского направления сделали провозвестниками гуманистической установки в межкультурных отношениях, которая значительно позже, опустившись на уровень обыденного сознания, оформилась в требование *политкорректности* – маркер новейшей западной культуры. Те же розовые очки «политкорректности» рождали жесткую установку на поиск в архаических культурах исключительно позитивной антитезы погрязшему в противоречиях Западу.

Но по мере того как сами концепции социального развития освобождались от исконных пороков, а эмпирические методы совершенствовались, противопоставление конкретно-исторического, социологического, психологического, этнографического и т. д. подходов подходу эволюционно-историческому превращалось в анахронизм. Само собой разумеется, физик, биолог, геолог, этнограф, занятые экспериментом или наблюдением, могут игнорировать контекст универсальной эволюции, равно как строителю сарая необязательно знать о шарообразности Земли. Но уже при проектировании небоскреба рекомендуется освежить сведения о геологии и астрономии. А при необходимости выстраивать практическую работу с охотниками-собираателями (например, прививать им вкус к сельскому хозяйству, препятствовать людоедству, инфантициду, человеческим жертвоприношениям и т. д.) приходится вспомнить о социальной эволюции. Этнография же, заиклившись на агрессивном неприятии истории, рискует соскользнуть на обочину современной науки...

### Литература

- Аллен, Дж., Нельсон, М. 1991. *Космические биосферы*. М.: Прогресс.
- Артёмова, О. Ю. 2008. Десять лет «первобытности» в постсоветской России: анализ некоторых, преимущественно учебно-методических, публикаций. *Этнографическое обозрение* 2: 139–156.
- Бердяев, Н. А. 1990. *Смысл истории*. М.: Мысль.
- Берзин, Э. О. 2009. Вслед за железной революцией. *Историческая психология и социология истории* 2(2): 184–194.
- Боринская, С. А., Янковский, Н. К. 2006. *Люди и их гены: нити судьбы*. Фрязино: Век 2.
- Бужилова, А. П. 2005. *Homo sapiens: История болезни*. М.: Языки славянской культуры.
- Вернадский, В. И. 1978. *Живое вещество*. М.: Наука.
- Григорьев, А. А. 1991. *Экологические уроки прошлого и современности*. Л.: Наука.
- Гринин, Л. Е., Марков, А. В., Коротаев, А. В. 2009. Ароморфозы в живой природе и обществе: опыт сравнения биологической и социальной форм макроэволюции. В: Гринин, Л. Е., Марков, А. В., Коротаев, А. В., *Эволюция: космическая, биологическая, социальная* (с. 176–225). М.: УРСС.
- Мельянцеv, В. А.  
1996. *Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность*. М.: Изд-во МГУ.  
2004. Как это произошло. *Вестник МГУ. Серия 13: Востоковедение* 3: 3–43.
- Назаретян, А. П.  
1996. *Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (Синергетика исторического прогресса)*. М.: Наследие.  
2004. *Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (Синергетика – психология – прогнозирование)*: пособие для вузов. 2-е изд. М.: Мир.  
2008. *Антропология насилия и культура самоорганизации. Очерки по эволюционно-исторической психологии*. 2-е изд. М.: ЛКИ.  
2009а. Виртуализация насилия: знамение эпохи? *Историческая психология и социология истории* 2(2): 150–170.  
2009б. Смыслообразование как глобальная проблема современности: синергетический взгляд. *Вопросы философии* 5: 3–19.
- Письмо А. Тойнби. 1974. В: Конрад, Н. И., *Избр. труды. История* (с. 270–273). М.: Наука.
- Семенов, С. И. 2009. Идеи гуманизма в ибероамериканской культуре. *Историческая психология и социология истории* 2(1): 187–204.

**Сорокин, П. А.** 1991. *Долгий путь*. Автобиографический роман. Сыктывкар: Шыпас.

**Шпенглер, О.** 1993. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 1. *Геиштальт и действительность*. М.: Мысль.

**Carneiro, R. L.** 1970. A Theory of the Origin of the State. *Science* 169 (3947): 733–738.

**Christian, D.** 2004. *Maps of Time: an Introduction to Big History*. Berkeley, CA: Univ. of California Press.

**Cohen, M. N.** 1989. *Health and the Rise of Civilization*. New Haven; London: Yale University Press.

**Diamond, J.** 1999. *Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies*. N. Y.; London: W.W. Norton & Company.

**Gill, J. L., Williams, J. W., Jackson, S. T., Lininger, K. B., Robinson, G. S.** 2009. Pleistocene Megafaunal Collapse, Novel Plant Communities, and Enhanced Fire Regimes in North America. *Science* 20 (November 26): 1100–1103.

**Global Environmental Outlook-3.** 2002. Vol. 3 (August).

**Korotaev, A.** 2008. Book Review: Nazaretyan Akop P. Anthropology of violence and culture of self-organization. Essays on evolutionary historical psychology, 2<sup>nd</sup> edition. Moscow: URSS, 2008. *The Journal of Philosophical Economics* II(1): 147–151.

**Lin Yufu J.** 1995. The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution did not Originate in China. *Economic development and cultural change* 43(2): 269–292.

**Nazaretyan, A. P.**

2003. Power and Wisdom: Toward a History of Social Behavior. *Journal for the Theory of Social Behaviour* 33(4): 405–425.

2005a. Fear of the Dead as a Factor in Social Self-Organization. *Journal for the Theory of Social Behaviour* 35(2): 155–169.

2005b. Western and Russian Traditions of Big History: A Philosophical Insight. *Journal for General Philosophy of Science* 36: 63–80.

2009. Technology, Psychology and Catastrophes: On the Evolution of Non-violence in Human History. *Social Evolution & History* 9(2): 102–132.

**Stunkel, K. R.** 1990. Technology and Values in Traditional China and West. *Comparative Civilizations Review* 23, 24: 75–91, 58–75.

**Yextra, D. A.** 2002. An Interview with J. R. McNeill and William H. McNeill. *Historically Speaking* 4(2).